

УДК 159.955.4

© Филоненко А.С., 2010

Александр Пятигорский, рассказчик

Александр Филоненко

В статье на материале бесед с философом Александром Пятигорским рассматривается отношение философии, разговора и рассказа. С помощью анализа фигуры рассказчика, проделанного Вальтером Беньямином, демонстрируется практика рассказа, воплощающего философское мышление. Разговор описывается как место возможности интересного мышления, место, вне которого философия невозможна.

Ключевые слова: философия сознания, наблюдательная философия, разговор, рассказ, рассказчик, сознание и мышление, деконтекстуализация, рефлексия, дружба, слушай, интересное.

Джонатану Саттопу – с радостью о дружбе

10 февраля 1998 года я стал свидетелем рождения философии из разговора. Тогда мистер Мартин Дюхерст, замечательный славист из Университета Глазго, выполнил данное летом обещание "собразить на троих с Моисеевичем", и мы встретились в кабинете Александра Моисеевича Пятигорского в Школе востоковедения и африканистики Лондонского университета. Это была наша первая встреча, поводом к которой были мои попытки разобраться в философии Набокова, а единственной известной мне русскоязычной статьей на эту тему была давняя статья Пятигорского "Чуть – чуть о философии Владимира Набокова"

[3]. Я приехал в Англию заниматься британским православным богословием, рассчитывая в свободное время немного присмотреться и к набоковедению и доделать свою статью о метафизике сходства в романе "Отчаяние". Черновик статьи понравился Мартину, мне нравилась статья Пятигорского. Случилась встреча, в которой разговор о Набокове растворился в стихии философствования. За ней последовали другие, и стремление отметить хотя бы некоторые темы, сюжеты и повороты в раскрывшейся передо мной стихии привели к появлению этих записей.

Поскольку не раз повторенный ритуал бесед сопровождался питьем *всегда* водки, то каждый раз, понимая, что утром многие из тем могут быть безвозвратно утеряны, наперегонки со сном в автобусе или в электричке, я записывал *существенное*, что придавало заметкам неустранимую фрагментарность. Я долго колебался, стоит ли приводить в порядок эти "пьяные тетрадки", стоит ли стремиться передать дух разговора, если всякий разговор предполагает двоих, но своего участия в разговоре я никак не отмечал и почти не помню. В записях разговор распался на фрагменты *рассказов*. Преодолеть эту трудность помог вынесенный Пятигорским в один из многочисленных эпиграфов "Мифологических размышлений" тезис *некоего* И. Бештау: "Мифология дана нам в несвязанных фрагментах нашей мысли. Если бы их связь удалось восстановить, это была бы история" [4, с. 17]. Так что мои записи, хотя и хронологически выверены, но никак не историчны, хотя и поневоле мифологичны в указанном выше смысле. Кстати, Бештау — это гора в Пятигорске, в котором стоял в кавказскую компанию Пятигорский полк. По его названию была присвоена фамилия предкам Александра Моисеевича. В Пятигорске гор не пять, а гораздо больше, и назван он именно из-за этой, самой высокой горы. Ее имя, Бештау, переводится как "пятигорье", потому что вершин у нее пять. И никогда бы мне не раскрыть этого псевдонима, если бы сам не родился в соседнем Кисловодске.

В 1931 году в статье "Рассказчик", посвященной творчеству Николая Лескова, Вальтер Беньямин описывает и одновременно провожает рассказчика, оставляющего, с его точки зрения, европейскую культуру *навсегда*: "Мы все реже встречаемся с людьми, которые в состоянии что-то толком рассказывать" [1, с. 384]. Связывая это с развитием капитализма и войной, с которой "люди пришли онемевшими", он объясняет это тем, что "никогда прежде никакой опыт не представлял столь явной ложью, как опыт стратегов в условиях окопной войны, экономический опыт в условиях инфляции, телесный опыт в сражениях с применением тяжелой военной техники, нравственный опыт в поступках сильных мира сего" [1, с. 384]. Беседуя с Пятигорским, я все тверже убеждался в ошибочности культурологического прогноза Беньямина и в точности его феноменологии рассказа. Передо мной был рассказчик, которого трудно обнаружить в его же философских работах. Хотя он не устал повторять, что "никакой философии не существует без разговора" [10, с. 20], но в то же время исповедовал философствование как работу деконтекстуализации. Объединял он эти тезисы в императиве – тосте, предлагая выпить за то, чтобы философ, который *должен* выйти из истории, всегда *знал*, откуда именно он выходит. Пятигорский, будучи противником всякого финализма, сам был воплощенным аргументом ошибочности беньяминовского прогноза и любил цитировать письмо Пастернака: "Судьбы культуры в кавычках вновь, как когда-то становятся *делам* выбора... Кончается все, чему дают кончиться... Возьмешься продолжить, и не кончится" [8, с. 413]. Действительно, рассказ ушел из-под лампы большой культуры, но Пятигорский бы сказал, что тем хуже для культуры. От этого он не только не исчез, но и не потерял своей существенности. Оставаясь вне публичных коммуникативных практик, рассказчики вели и продолжают вести разговор, а философствование есть условие его возможности. Надеюсь, настоящие записи послужат демонстрацией этого тезиса. В той же статье

Беньямина я нашел и оправдание собственной забывчивости: "Чем больше забывает о себе слушающий, тем глубже запечатлевается в нем услышанное" [1, с. 394]. В ней же Пятигорский нашел парный эпиграф к максиме Бештау: "Ценность информации не переживет того момента, когда она была новой. Другое дело рассказ. Он не исчерпывает себя" [4, с. 17].

В 1974 году Пятигорский в "Заметках о метафизической ситуации" дал определение, которое может приблизить к пониманию природы разговора, воплощающего философское мышление: "метафизическая ситуация — то, *что* может происходить, случаться, обстоит с людьми, оказавшимися *в поле метафизических идей и понятий*, в сфере воздействия *безличной силы сознания*" [2, с. 214]. Настоящие заметки составлялись и для того, чтобы отдать должное разговору и рассказчику внутри такой ситуации и показать настоятельность рассказа, дополняющего философствование и делающего его полнокровным.

Как собеседники мы во многом слишком разнились. Я занимался богословием, он считал богословие методологически вторичным к философии, мои философские занятия были связаны с философией Другого Левинаса, он говорил, что Левинас ему неинтересен, а уж *Другого* он называл "одним из самых вульгарных понятий так называемой "гуманистической" философии двадцатого века" [11, с. 7]. Об индийской философии, буддизме и масонстве, бывших для Пятигорского *интересными объектами мышления*, мы почти не говорили, потому что я не спрашивал. Но это вовсе не затрудняло разговор, а, напротив, создавало возможность *близости* собеседников вопреки несоизмеримости их опыта, оценок и интерпретаций. Пятигорскому был смертельно скучен *диалог* как общение, при котором участники остаются при своем в порыве создания общего "для тебя и меня языка" или "приятного для обеих сторон взаимопонимания" [9, с. 11], но привлекал *разговор* как то место, в котором возможно *интересное* мышление: "Да, я все время — я не преувеличиваю — хочу именно такой разговор как случай

высвобождения моего мышления из пут его, этого мышления и моих собственных, контекстов. Да, я очень боюсь прекращения такого разговора как утраты самой возможности (кто знает, может быть, последней до конца мира или моей жизни) отрыва от контекстов *сейчас*" [9, с. 12 – 13]. Такой разговор "'выбивает" разговаривающего из его языка, этим давая ему шанс входа в иные мыслительные ситуации. Его привлекательность – в неожиданности, для меня самого, смены подхода к предмету, да и самого предмета тоже" [9, с. 11]. Способность к *близости* вне несоизмеримости опыта собеседников и *безусловная щедрость* их как рассказчиков – необходимые условия такого разговора. И этими добродетелями Пятигорский обладал в высшей степени. Подарив "Непрекращаемый разговор", он подписал его: "Дорогому Сапе Филоненко – не в знак и не на память, а от радости встречи". Мы никогда *не говорили* о радости, но для меня эти слова являются счастливым свидетельством не только того, что моя радость оказалась взаимной, но и того, что состоявшийся философский разговор узнается по радости. Я делал эти записи, стремясь сохранить эту *радость* философствования, и надеюсь, что она не совсем выветрилась при перенесении на бумагу. Кроме того, если еще раз вспомнить Бенямина: "В действительности не существует рассказываемой истории, в которой утратил бы право на существование вопрос: "А что было дальше?"' [1, с. 406], и если мы *захотим* воспользоваться этим правом, то уход Александра Моисеевича Пятигорского не прервет того философского разговора, прекращения которого он боялся и персонификацией которого, безусловно, останется.

1997

28.07.97 – позвонил Мартин Дюхерст, похвалил мою статью о Набокове и сказал, что мы непременно должны "сообразить с Моисеевичем на троих". Обещал в мой следующий

приезда на остров представить меня Александру Моисеевичу (АМ). И обещание исполнил.

1998

10.02.98 – первая встреча "на троих" в кабинете АМ в SOAS, School of Oriental and African Studies.

Они не виделись с Мартином восемь лет. Было о чем поговорить. Пили "прекрасную кошерную водку из Польши" с пирожками из профессорского сейфа. Потом выяснилось, что это – ритуал, водка и пирожки – его необходимые составляющие, дополнявшиеся пирожными при появлении дамы. Больше в сейфе ничего не было. Разговор вспыхнул о русских масонах и Временном правительстве. Все герои разговора именовались по имени и отчеству, как старинные знакомые, фамилии не использовались, и мне потребовалось время, чтобы понять, что речь идет об Александре Федоровиче Керенском и Михаиле Ивановиче Терещенко, о котором я тогда впервые слышал. *Вдруг* выяснилось, к удивлению АМ, что Мартин в юности был секретарем Керенского и работал над его мемуарами. АМ был категоричен в оценках деятельности Александра Федоровича: "энтузиазм и пошлость – всегда рядом". Мартин эти оценки смягчал. Разговор был соткан из таких ВДРУГ. Поминали Юрия Михайловича Лотмана и Мераба Мамардашвили (фамилии, разумеется, не использовались).

Фрагмент разговора о московской гостье, внучке старинного друга, которую последний раз видел девочкой под столом перед самым отъездом в 1974 году.

АМ: "Когда я уже выпил, и перешли к пирожным, Маша ВДРУГ попросила говорить "начистоту". Мартин, Вы, конечно, знаете, чем отличаются англичанин и русский, когда предлагают поговорить начистоту! Англичанин предполагает гово-

рить гадости о себе, а русский – о тебе. Точно так и вышло. Машенька спросила, не состою ли я в масонской ложе? Иначе в ее семье никак не могли объяснить мои лондонские "успехи". И после того, как я немножко поправил ее представления о масонстве и пояснил, почему я не могу быть масоном, она строго и шепотом сказала: "Я так и знала, они завербовали Вас так, что Вы и сами об этом не знаете"".

После того, как Мартин откланялся, мы перебрались в китайский ресторан, где приступили к обсуждению философии Набокова, любимым русскоязычным произведением которого у АМ оказался рассказ "Ultima Thule". Но запомнились почему-то ВДРУГ возникавшие в разговоре Георгий Иванович Гурджиев и Петр Дамианович Успенский, Розанов и Флоренский, Семен Людвигович Франк, Хоружий и Хинкис и вся история с переводом "Улисса", Декарт и Кьеркегор, Карсавин в Литве, Гегель и Фейербах, Рахманинов и Борхес, Людмила Петрушевская, Бродский в Москве и в Лондоне, Оден, популярные лекции Фейнмана по квантовой электродинамике в связи с философией сознания, Ландау и Гамов. Оказалось, что философствование может рождаться из стихии разговора.

АМ: "Когда меня здесь спрашивают о значении русской культуры, я не напоминаю о Толстом и Достоевском, а прошу посмотреть в Британской энциклопедии, кто изобрел телевизор. Информация об инженере Зварыкине производит более сильное впечатление. Я сторонник русского академического приоритета. Сейчас в Лондонском университете работает девятнадцать профессоров из России".

Прощаясь на железнодорожной платформе, АМ попросил не переживать за мою статью, потому что он положил ее в совершенно надежный карман, в котором уже лежит замечательный текст на тибетском языке. Тут же была пере-

сказана взятая из него история о монахе, который отправился искать перерожденца после смерти настоятеля монастыря, и однажды в одном селе он подошел к мальчику, лепившему фигурки из навоза, и предложил ему пойти за ним и научиться несравненно более важным вещам. Мальчик пошел и, действительно, оказался разыскиваемым перерожденцем. И благодарные монахи, решив восславить нашедшего, спросили, как ему удалось обнаружить нужного мальчика. На что тот сказал, что звал ВСЕХ мальчиков, лепивших фигурки из навоза, но пошел за ним только ОДИН.

Фотокопия тибетской книги была немедленно продемонстрирована, к ней была приложена моя статья, и следующая встреча оговорена.

25.02.98 – второй разговор с АМ.

(В отдельных фрагментах – прямая речь Пятигорского. Она закавычена в тех случаях, когда включена в мой рассказ внутри фрагмента).

- Дорогой Александр! Прежде чем предложить Вам прекрасной кошерной водки, я должен спросить, не бросили ли Вы пить за то время, пока мы не виделись?

- Но ведь мы расстались совсем недавно?

- Ответ, с точки зрения буддийской философии, совершенно неверный, потому что для того, чтобы бросить пить, времени не нужно.

Если заниматься философией сознания, то нужно рассмотреть Платона (причем Аристотель бесполезен со своей онтологизацией), британских эмпириков, особенно, епископа Беркли, разумеется, Канта, гегелевскую "Феноменологию духа", причем, с внимательным прочтением Александра Кожева, и "Идеи I" Гуссерля. Только британские эмпирики – на-

стоящие идеалисты. Декарт – не философ сознания, но у него есть интересные выходы, которые уничтожены в онтологизирующей мысли Спинозы. У Канта важно открытие *феномена* в связи с актом сознания. Британские эмпирики и *идея* как ключевая структура сознания.

Регрессия мышления – у Гуссерля в "Кризисе европейских наук", например. Простой пример регрессии: "Я хороший философ, и поэтому ты должна мне отдаться". Второй пример принадлежит Мерабу: "Если мне кто-то скажет, что ему не давал развиваться режим, то я не буду иметь с ним дел, поскольку он сам – человек режима. Режим позволяет или не позволяет ему развиваться". Философ сознания не должен жаловаться на *ситуацию*. Это так же глупо, как жаловаться на погоду.

Для Мераба действительно было важно, что философия сознания есть феноменология *одинокого* сознания. И в этом я остаюсь на его стороне.

Дилетант, сознающий свой дилетантизм и поэтому осуществляющий глубокую работу сознания, возможен, поскольку философу сознания все равно с чем работать. Связь работы сознания с объектом сознания – вынужденная неизбежность.

Три опыта сознания: Джойс, Пруст, Кафка – и Леопольд Блум, мсье Сван и Йозеф К. У Кафки в "Замке" Йозеф К. – дурак, не понимающий ничего, но Бог так устроил мир, чтобы мы ничего не понимали, следовательно, мы все – дураки и насекомые. Но его голая фабула – сама по себе структура сознания. Для Пруста все познаваемо, а то, что непознаваемо, должно быть просто убрано, исключено. *Постоянное* присутствие всех структур сознания как *данность*, которую *нужно* проявить, и поэтому тоже возможна неудача из-за непроявленности. У Джойса – динамичная работа сознания, его поток как не-

что самодостаточное и самоценное, а Леопольд Блум счастлив этой самодостаточностью.

На вопрос о моем нынешнем отношении к семиотике кратко я мог бы ответить так: мне для занятий семиотикой хватило бы пять лет. Я занимался ею шесть. Отсюда и мое отношение. Семиотики уже нет, но есть Кома, Вячеслав Иванов, последний семиотик.

Подарок при расставании – книга "Who's Afraid of Freemasons? The Phenomenon of Freemasonry" [12], немного прояснившая первый разговор о русском масонстве.

АМ: "Когда приехал в Англию, в одном доме встретил русского старика, знакомого с масонством времен русской революции, и понял, что *свидетели* еще живы. Начались разговоры, поиски этих свидетелей, из разговоров стало ясно, что нужно потратить несколько лет на британское масонство и его феноменологию. Получилась эта книга. Издатели придумали красивое, продаваемое название "Who's Afraid of Freemasons?", вспомнив о пьесе "Кто боится Вирджинии Вулф?" и оставив мое в качестве подзаголовка, "The Phenomenon of Freemasonry". Жаль только, что из-за изрядного объема книги убрали сто страниц о Кафке и масонстве. (Из разговоров о русском масонстве позже вырос роман "Вспомнишь странного человека ..." [5], получивший в премию Андрея Белого в 2000 году. – А. Ф.)".

2003

27.03.03 – разговор в гостях у АМ. Не виделись пять лет. Водка "Absolut", сигареты, кофе с сыром и хлебом.

Побывал в Москве и обнаружил у своих старинных друзей новый цинизм. Все время ведутся неприличные разговоры

о деньгах и женщинах. Утомляет, потому что надо же хоть *иногда* говорить правду.

Андрей Муравьев-Апостол, бывший министр иностранных дел Швейцарии, выпускник Итона, ни разу в России не бывший, решил посетить родовые места и объехал их значительную часть, после чего резюмировал в разговоре свои впечатления: "Люди в России, вообще говоря, живут неплохо, НО они *крайне нелюбезны*". Я, возражая, позволил себе пошлость и сказал, что это, возможно, связано с ухудшением их жизни. Речь шла о девяностых. На что Андрей резонно возразил: "Я бывал в трущобах Сан-Пауло и *там* люди любезны". Да и в Индии так же: вонь, дерьмо, нищета, а люди любезны!

Ужасно люблю мемуары как не-свое. Я никогда не напишу мемуаров. Вот много читал о Достоевском. Интересно взглянуть на дело Петрашевского как на первую фабрикацию политического процесса.

О мифотворчестве Достоевского: существует перевод "Идиота" на второй язык Пакистана. На этом же языке существует и "Гамлет". И более того, когда "Идиота" прочли, то вспомнили точно такую же историю, случившуюся и с одним из своих принцев! Рационализм Достоевского интересно соотносится с его мифотворчеством. В этой связи хороша книга Голосовкера о Достоевском и Канте. Невосприимчивость его к Гегелю.

Я исхожу из абсолютного плюрализма мышления. Каждый человек может иметь какую угодно мысль, но когда он ее высказывает — нужно приводить аргументы.

Я эмигрировал 28 июля 1974 года. И тут же звонок Бродского и встреча в Лондоне. Рассмотрев меня внимательно, Иосиф решил, что так одеваться совершенно невозможно.

Мы отправились по магазинам, и он купил всю одежду, которую считал подходящей.

Бродский искал деньги на первую операцию, и вдруг ее оплатил *один* человек. Им оказался Михаил Барышников. Иосиф мог говорить только о поэзии. Приезжая в Лондон, он сбегал со своих семинаров и конференций, и мы отправлялись в паб, выпивали, курили и говорили о поэзии. Такой же была наша последняя встреча. У Иосифа была сильнейшая одышка.

Бродский нежно любил Дерек Уолкотта, вытаскивал его из всяких университетских передраг. Дерек платил ему тем же. Иосиф недолюбливал негров, и однажды я спросил его:

- А как же Дерек?

А он удивленно:

- Ну, какой же он негр? Он – поэт!

О британском православии. Моя жена просила Николая Михайловича Зернова повлиять на меня и способствовать в моем крещении. Он отказался, заявив, что у меня и без его помощи отношения с Богом серьезные. С владыкой Антонием я так и не решился поговорить, хотя и слушал рассказы о нем с первых своих дней в Англии. С владыкой Анатолием я встретился лишь однажды. На кухне в нашем доме я обнаружил маленького человека с бородой, моющего посуду, пока гости веселятся. Разговорились. Оказалось, что в прошлом он был матросом, а вот теперь православный епископ в Англии. Владыку Василия Осборна я знал еще по Оксфорду, а отец Сергей Гаккель – прекрасный знаток джаза. В поколении Зернова был замечательно умный и глубокий человек, Владимир Васильевич Варшавский, написавший "Потерянное поколение".

Я обожаю Португалию. Она находится в тени Испании, хотя ее культура совершенно своеобразна. Демаркацион-

ной линией между ними служит старое португальское англо-фильство.

В Израиле я бывал двадцать девять раз. Там жили мои родители. Отец же похоронен в Лондоне. Любовь к Англии я впитал от него. Его рассказы были полны впечатлений о его английской командировке по металлургическим делам.

Однажды я купил лекарства для друга и в коридоре его коммуналки подслушал разговор о снятии Ландау с профессорства в МГУ. Уже в Англии я открыл для себя истории о Георгии, или Джордже, Гамове, бонвиване и крепко выпивавшем друге Ландау, о котором в Москве упоминать было не принято. Из всех физиков наибольшее впечатление на меня произвел Ричард Фейнман, недолголюбивавший, мягко говоря, философов. Вы найдете продумывание его аргументов из лекций "Квантовая электродинамика – странная теория света и вещества" в моей книге "Мышление и наблюдение" [7].

02.04.03 – второй разговор в гостях у АМ.

Об обсервационной философии и "Мышлении и наблюдении". В обсервационной философии в философствовании связываются объект как мышление, мышление и наблюдение, рефлексия, сознание, знание и думанье, время думанья и время рефлексии ... Все началось с того, что я понял, что *невозможно* рассматривать мышление как феномен, но только как эпифеномен рефлексии. Отношение знания и думанья я описывал раньше во введении к "Мифологическим размышлениям". Те же темы работают в последнем рассказе из сборника "Рассказы и сны" [6].

Отношение знания, думанья и рефлексии может быть пояснено следующим образом. Если я не могу упрекать чело-

века в отсутствии знания, то в отсутствии думанья — могу. Например, фраза "Как тебе не стыдно, ты не *знаешь* столицы нашей Родины!" глупа, потому что мало ли кто и чего именно не знает, а вот — "Ты совсем не *думаешь* о матери!" серьезна и этически нагружена. Еще более серьезна фраза "Ты не *хочешь думать* о деньгах, которых давно нет!", и этот упрек связан с рефлексией, с моим желанием или нежеланием думать.

Или вот такой семейный разговор:

- Ты не *подумал*, что у нас кончатся деньги?

- Я не *знал*!

В вопросе упрек, связанный с апелляцией к думанью, в ответе уход от ответственности через редукцию думанья к знанию.

Владимир Калиниченко подслушал хороший разговор по пути на презентацию моей книги в магазине "Пироги ОГИ", позволивший проиллюстрировать связь философствования и рефлексии. Одна дама жаловалась в трамвае подруге на трудности с деньгами, на необходимые и срочные траты и т. д., а вторая ее утешала: "Да перестань ты об этом думать, будь философом". Философия как возможность не-думанья, а потому и возможность хотеть или не хотеть думать, открывающаяся в рефлексии.

Рефлексия невозможна, но случается. Философия как род внимания к месту невозможного. Этика *места*, в котором, может случиться рефлексия.

Пастернак относится к Мандельштаму как безумие и ясность. Очень интересна тема знания и думанья у Пастернака. Его шаманство и рефлексия. Пастернак проделал философскую работу в прозе.

Я терпеть не могу конференции и изобразительное искусство с его толкотней в музеях и на выставках, но очень люблю архитектуру.

Что-то очень важное говорит об Англии тот факт, что в ней худшее среднее образование в Европе и первое место по числу открытий и изобретений.

Когда Деррида прочел в Кембридже свою лекцию о деконструкции, после скандального протеста группы профессоров по поводу присуждения ему доктора *honoris causa*, присутствовавший там принц Филипп подошел поприветствовать лектора и, благодаря, сказал, что ему всегда было трудно понять, что такое деконструкция, но теперь, после прекрасной лекции, он понял, что никаким другим понятием того, что происходит в королевской семье, выразить невозможно.

Прочтя "Мышление и наблюдение" с подзаголовком "четыре лекции по наблюдационной философии", я позволил себе спросить у АМ, неужели такой трудный, даже для чтения, текст действительно *говорился* кому-то? Ведь он совершенно не похож на его живые лекции. АМ ответил: "Ну конечно, это никому не говорилось. Я написал этот текст по-английски, потом увидел, что он тяжеловат и решил облегчить его, вставляя в разных местах обращение "Дамы и господа!". Ничего кроме этого обращения там от лекций нет".

Когда Юрий Михайлович Лотман был *предельно* недоволен каким-нибудь присланным текстом, его самая суровая критика выражалась следующим образом: "Ну, так бы и я смог написать".

Отъезд АМ в Индию, о котором он расскажет через два года в нашу прощальную встречу.

2004-2005

9.03.04 – ужин с Митей Боским, учеником АМ.

Боский: "Сапа исповедует в отношениях с друзьями принцип всех разведок мира, принцип "вертикального разделения": он никогда их не знакомит, потому что не доверяет общим разговорам. У него невероятное число друзей, и они время от времени встречаются друг с другом и выясняют, что знают и любят Сашу Пятигорского".

(Все семь разговоров 2004 года имели место в гостях у АМ.)

15.10.04 – первая беседа с АМ была дневной и кратчайшей, то есть трехчасовой и без водки. У АМ оперированное больное колено, но, несмотря на него, выпадивание разговора.

Узнав о моих кембриджских занятиях британским православным богословием, АМ вспомнил о Николае Михайловиче Зернове, Клайве Стейплзе Льюисе и о православном приходе в Оксфорде. Николай Михайлович Зернов – самый значительный из встреченных русских, непосредственный как ребенок, чего ему многие не прощали и часто говорили: "Да он же дурак!", не понимая его гениальной непосредственности. Его интересовало *только существенное*. Он глубоко разделял идею сродства англиканской и православной церквей. Я жил через улицу от его дома в двух минутах ходьбы и заходил практически каждый день. После нашего последнего разговора, за день до смерти, я сказал ему: "До завтра!", а он в ответ: "Но завтра я уже умру, или завтра меня может уже не быть". Милица, его жена, возмутилась, но у него было спокойное знание этого.

А немного раньше, в разговоре он с улыбкой сказал мне: "Я прожил абсолютно счастливую жизнь".

Милица жаловалась на Николая Михайловича: "Он принимает всех без разбора", и рассказывала, как однажды в одиннадцать часов ночи, что совершенно немыслимо по английским правилам, пришел выпивший англичанин и, не представившись, спросил: "Здесь ли живет Николай Зернов?". Получив отпор, он представился: "Клайв Льюис". Николай Михайлович вмешался и сказал: "Зови, он хорошо о Боге пишет!". Проговорили до четырех часов, а Милицу возмутило, что не у нее, а у Николая он спросил через какое-то время, нет ли у него немного виски. "Ведь Николай никогда не пил, а ОНИ (Льюис, Толкиен и их компания) все время пьянствуют в разных пабах!".

Нигде, как в Англии, знаменитой условностями, так не прощают пренебрежения ими. Очень распространенная фраза: "Ну, это же другое дело!". Отсюда, английская любовь к эксцентрикам.

Льюис в разговоре в пабе об условиях философии:

- Готовность к правде и знание, что мной что-то или кто-то правит.

- А если я не хочу, чтобы мной правили?

- Благодарите Бога, что это несущественно.

О владыке Василии Осборне, возглавившем Сурожскую епархию.
Мы были дружны с Альфредом три месяца, когда он носил джинсы и ездил на велосипеде. Он стеснялся быть русским священником в Оксфорде, потому что, с его точки зрения, плохо знал древнегреческий, хотя был специалистом по позднему эллинизму. Лучше язык знал отец Каллист Уэр, служивший в

том же храме и сменивший Николая Михайловича на профессорском посту в университете.

Об отце Александре Шмемане. Однажды, на какой-то конференции я начал свою речь с просьбы отказаться от варварской привычки представлять выступающих, перечисляя их титулы, степени и звания, и сказал: "Меня зовут Александр Пятигорский". После несколько темпераментного доклада ко мне подошел священник с военной выправкой и спросил, часто ли мне приходится так боевито выступать. Это оказался отец Александр Шмеман. Мы поговорили с ним тридцать минут, стоя. А не садились мы потому, что тогда пришлось бы участвовать в *общей дискуссии*, которой ни он, ни я не доверяли. Я доверяю только разговору, но не общему, потому что общие разговоры почти никогда не бывают *интересными*. Отец Александр поразил ясностью мышления и способностью обрезать необязательные линии разговора и глубоким *рационализмом*.

Все мои сборники, выходившие до сих пор, составлял не я. В них попадало такое, что я никогда бы больше не хотел видеть, тем более переизданным. Но вот в Санкт-Петербурге выходит главная книга, "Непрекращаемый разговор", которую я составил из тех статей, которые кажутся значимыми мне самому. Жаль только, что в нее не вошло специально написанное введение "Непроницаемость политической философии", навеянное иракской войной. Она посвящена *эпистемологическому безумию тайны*, которое есть умение политика (например, Гитлера или Сталина) создать иллюзию наличия стратегического плана (например, мировой войны), несмотря на отсутствие даже намеков на него. То же отсутствие и абсурд – в Ираке и Чечне, а раньше – дважды в Афганистане (в 1849 году Британия впервые ввела туда восемнадцатитысячный экспедиционный корпус, вернулось – шесть человек, такова цена интересующего меня умения). Эта *незаинтересованность* великих политиков в

знания и *отсутствие* реальной стратегии – явление новое, потому что в девятнадцатом веке у Наполеона и Бисмарка, а до того у Людовика XIV и у Петра I этого не было. А вот в XX веке таких примеров предостаточно. Николай II после совещания с командующим генштабом сетует в 1914 году: "Тяжело от его знания". Он же назначает командовать японской эскадрой адмирала Рождественского, парируя возражение: "но над ним же смеются даже шкиперы!", замечательным суждением: "но он – надежный человек". Или вице-король Индии, внук королевы Виктории, адмирал Маунтбеттен разделяет Индию и Пакистан с помощью четырех клерков по огромной карте линейкой. Такая *нелюбовь к знанию* вызвала страшную индо-пакистанскую резню при разделе Пенджаба, несмотря на предупреждения *знающего* Неру, к которому адмирал и его супруга леди Эвина были очень привязаны.

Кстати, лидер Пакистана Джина был англоманом и со своим политическим врагом Неру разговаривал, конечно, по-английски, стремясь остановить войну. Эта же резня вызвала разочарование Ганди в своем народе. Он написал письмо партии с требованием выделить пятьсот пятьдесят миллионов рупий голодающим пакистанцам, после чего его назвали предателем.

Кутузов – знающий, и любопытно отношение к нему Александра I. Или знание Жукова о проигрыше немцев под Сталинградом и сталинское требование впечатляющей победы. Наш Афганистан: Устинов и экспертное знание о "дружественных таджиках". Чем не Ирак и экспертное знание о "дружественных шиитах", оппозиционных суннитскому режиму Хусейна? Казалось бы, каждый троечник-востоковед знает о том, что именно для шиитов неприемлемо правление чужеземцев и что сопротивления оккупационному режиму следует ожидать со стороны шиитов. Именно так и произошло, но эксперты рекомендовали делать ставку на дружественных шии-

тов. *Нелюбовь политиков к опытному знанию знающего привело к постепенному вытеснению знающего экспертом.* Буш, Блер, Путин – позиция ненужности знающего и торжества экспертного знания.

Хотя были политики, сумевшие сделать выводы об ошибочности своего не-знания. Например, Черчилль в 1916 году, в роли главы Адмиралтейства, когда его волевое незнание стоило провала морской компании. Или сожаление Маунтбеттена при встрече с Владимиром Буковским о единственном непрежитом опыте: "К сожалению, я никогда не сидел в тюрьме".

Жена лорда Маунтбеттена, леди Эдвина погибла, спасая детей в эпидемию на Суматре. Она умерла, по словам лорда, "своей смертью". Сам он после ее гибели ждал "свою" и дождался. Будучи восьмидесятилетним стариком, он вышел на яхте с внуками и был потоплен ирландскими террористами в 1979 году. Интересно, что в индийской мистике есть понятие "своя смерть". Разочарованный Ганди ждал "свою смерть" и, когда увидел приближающегося убийцу, сказал ему: "Убей меня, о, Рама!", и умер с просьбой о его прощении.

Обсуждали рассказы АМ, особенно, "Урод империи" [6]. Я испытал сильнейшее влияние общества московских математиков, и в этом рассказе хотелось ухватить ту атмосферу. А странные фамилии героев – это узнаваемо измененные фамилии главных участников московской математической жизни: Ронтпириан – Понтрягин, Мниан – Гельфанд, Нольдар – Арнольд.

Идея российской империи мне глубоко противна и не может быть эстетически оценена. Хотя Бродский, например, был имперский поэт, и возмущенный провозглашенной независимостью Украины, тут же написал стихотворение "Украине на отсоединение от России", позвонил мне и прочел его,

хотя и запретил публиковать в прижизненных сборниках, хорошо осознавая его невысокую поэтическую ценность. Но не мог не написать. Запомнились последние две строчки: "Будете вы хрипеть, царапая край матраса, Строчки из Александра, а не вирши Тараса".

В двадцатом веке было два великих человека – Эйнштейн и Ганди, встретившиеся на приеме у Рузвельта.

Философ не должен:

- извиняться за то, что его позиция странна или необычна;

- интересоваться "реакцией" на его позицию.

Я никак не отношусь к принципиальным людям. Можно сказать, что я человек "беспринципный", но есть один принцип, от которого я старался не отступать: "не врать *детям* и *ученикам*", и не потому, что это плохо, а потому, что в случае вранья само отцовство и учительство *бесмысленны*.

21.10.04 – второй разговор.

О философском факультете. Поступил в 1947 году и учился до 1952. Три наиболее важные фигуры: Александр Зиновьев, Эвальд Ильенков и Юрий Левада. Зиновьев не терпел Ильенкова, Мераб тоже относился прохладно. Ильенков, совершенно порядочный, исключительно честный человек, отверг меня из-за неуважения к Марксу и Гегелю и из-за отношения к России, к которой сам относился по-германски серьезно. Как и Зиновьев, он много пил, и оба были фронтовики.

Дружба с Мерабом. Знали друг друга давно по философскому факультету, но дружбы не было. И вот, после большого периода бездомности, мне удалось снять комнату и, при-

дя первый раз туда с ключами и чем-то из булочной, у дверей подъезда обнаружил Мераба, который пришел к Борьке Грушину, жившему в том же подъезде. Это было летом 1969 года. Мераб спросил: "Скажи, пожалуйста, кратко, чем ты сейчас занимаешься?". Я ответил: "Меня интересует одна проблема: *сознание*". "И меня тоже". И после этого до самого моего отъезда в Англию мы уже не расставались. Чаще всего запирались у него в кабинете в Институте философии. Тогда он занимался "Вопросами философии". За наш с ним диалог о сознании и индийской философии близкие друзья ругали Лотмана, который его опубликовал.

Юрий Николаевич Рерих и Институт востоковедения. Юрий Николаевич Рерих работал с 1956 года в институте по приглашению Хрущева до самой смерти в 1960 году. Меня выгнали из института в 1968 в лето после входа в Прагу. Юрий Николаевич обращался к своим родителям только "папочка и мамочка". Его отец — очень сложный человек, много занимавшийся общественной деятельностью, мать — типичная теософка, ничего не знавшая хорошо. Брат Святослав — странный тип, по нескольку раз в год приезжавший в Москву. Но сам Юрий Николаевич — великий ученый. Сергей Олегович Прокофьев, внук Сергея Прокофьева и сын моего лондонского друга, написал *ужасную* книгу "Правда о семье Рерих", об их связях с НКВД, ГПУ и т. д. Но если уж предъявляешь такое обвинение, иди в архивы, иначе — неприлично.

Антисемитизм и космополитизм. Исайя Берлин как-то рассердил: "Как ты можешь, будучи евреем, *так* писать о евреях?". Пришлось ему ответить: "А кто Вам сказал, что я еврей?". Схожий вопрос приходилось слышать по поводу разных вещей, например, науки, и ответ был тем же: "А кто Вам сказал, что я ученый?". Впервые об антисемитизме узнал в 1946 году, когда, выйдя из школы, услышал от окруживших ребят: "Жид

проклятый", но спас вмешавшийся друг Мишка, школьный герой, круглый отличник и спортсмен: "Ты чего стоишь и молчишь? Скажи, что ты потомок Авраама и Исаака, а они — шваль подзаборная". А еще однажды вернувшийся с фронта дядя отозвал в сторонку и сказал: "Запомни, ты — еврей среди врагов". И я испугался. Космополитизм — редчайший случай мышления, но бывают и врожденные космополиты (таким, безусловно, является Володя Буковский).

О *сознании и "Мышлении и наблюдении"*. Проблема сознания пришла из моих занятий философией и параллельно возникшим интересом к индийской мысли, вызванным несколькими *встречами*. Сама эта проблема настолько трудна для современной науки, что мне часто приходилось редуцировать сознание к мышлению.

Тема книги "Мышление и наблюдение", кратко говоря, — рефлексия как *феномен*. Рефлексия — *имеет место, случается*, если *ты захочешь*. Моя рефлексия о моей мысли определяется моей свободой или желанием, а вот о рефлексии *другого* я могу сказать, что она *случайна*. "Случай", как "случка", "с-ходство" и в индийском языке тоже прочитывается как *встреча*. Случай как то, что меня *настигает*.

Один студент после лекции по феноменологии религии спросил: "Что такое феномен?". И я ответил: "То, о чем Вы *знаете*, что оно произошло". И тогда я понял, что рефлексия — феномен, а мышление — эпифеномен, а никак не наоборот.

4.11.04 — третий разговор. Молитва перед питьем водки — буддийская, на тибетском языке об ослаблении злых помыслов, которой монголы научили.

Впервые я выпил, когда мне было двенадцать лет и восемь месяцев, в сентябре 1941 года, на Урале, в Нижнем Тагиле, в общежитии крупнейшего снарядного завода. Ждали с матерью отца с работы. Комнату делили со старшим лейтенантом Гариевым, который попытался накормить мальчика хоть чем-то, но ничего не оказалось в фанерных чемоданах, кроме водки. И он налил немного, заявив, что водка немного притупляет голод. Пить в строгом смысле, как и курить, я начал в день рождения, в пятнадцать лет, 30 января 1929 года, следовательно, в 1944 году в том же городе. С другом Михаилом Ивановичем Архиерейским, мать которого работала на танковом заводе, "Вагонке", где каждый день выпускался полк танков. С тем самым Мишкой, который оказался рядом в мой день знакомства с антисемитизмом.

Бродский пил виски до последнего дня и выкуривал пачку сигарет в день даже после операции на сердце. Он был единственным человеком, который звал меня Александром. Иосиф позвонил буквально на следующий день после моего появления в Лондоне в 1974 году. Последний год жизни он задыхался каждые десять метров.

Как-то сказал Иосифу, что эссе о Стамбуле плохое. Он, совершенно не обижаясь, спросил: "Почему ты так считаешь?".

Мы были знакомы с ним по Москве, благодаря моему соседу, жившему ниже, Андрею Сергееву. Это соседство продолжалось, кажется, с 1963 по 1967 год. Бродский разыскал его после ссылки, чтобы изучать английскую поэзию. Его первым стихотворением, *услышанным* мною, была "Большая элегия Джонну Донну". Однажды я спустился к Андрею – сидят с Бродским. Спрашиваю:

- Чем занимаетесь?
- Александрийским стихом.

Вдруг, Бродский:

- Держу пари, что через полгода научу Александра писать приличные (не гениальные!) стихи.

- Но я не умею обходиться с рифмой.

- Ну, уж это совсем не важно. Этому я берусь научить в два счета.

- Но можете ли научить прозе?

Андрей:

- Прозе научить невозможно.

Так же говорил и Гете Эккерману.

Бродский был совершенный поэт, и философия, как и все, кроме поэзии, его не интересовала. Вот недавно был Женька Пастернак. Когда-то давно спрашивал его: "Каким отцом был Борис Леонидович?". А он: "Никаким, потому что для него ничего не существовало, кроме поэзии". Чего не скажешь о Мандельштаме, и не случайно Аверинцев считал, что в русской литературе было два классициста – Пушкин и Мандельштам. Для Бродского они же были важнейшими. А для Сергеева, как и для меня – Пушкин и Пастернак.

Я бы хотел дождаться, но не дождусь, конечно, написанной российской истории двадцатого века. Николай Александрович был лично исключительно порядочен, но бездарен, как только выходил за пределы личного круга. Фрейлина Вырубова ошиблась, попытавшись ввести во дворец Сергея Нилуса, который положил на стол Николая "Протоколы сионских мудрецов". Тот же велел убрать их как мерзость. Распутин был семитофилом и считал антисемитизм бунтом против Божьего народа.

В десять лет, в 1939 году, читал брошюру Мстиславского "Как мы арестовывали императора", опубликованную обществом политкаторжан, которую почему-то не уничтожили.

Ее без волнения нельзя было читать. Запомнилось, как Николай Александрович спрашивает у пришедшего арестовывать: "Штабс-капитан князь Мстиславский, как ваш брат Дмитрий, вылечился после ранения?".

"Личность" с позиции наблюдательной философии ненаблюдаема и является недопустимо сильным преувеличением.

Тост. За то, чтобы безусловная философия продолжалась, а такие фразы, как "но таковы условия" были исключены.

12.11.04 – четвертый разговор.

Пробовали армянскую тутовую водку, и после буддийской молитвы, в ответ на вопрос о том, не странно ли, что, увязывая философию с деконтекстуализацией, акультурностью и аисторичностью, сам АМ так любит историю и мемуарную литературу, им был предложен тост: "Философ *должен* выйти из истории, но он должен *знать*, откуда именно он выходит. За это знание!".

О первых встречах с друзьями и учителями. С Владимиром Николаевичем Топоровым познакомились в 1954 году. У него на дне рождения в 1955 году – первая встреча с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. Кома тогда уже был настоящей университетской звездой. С Бидией Дандаровичем Дандароном меня познакомил в 1958 году Юрий Николаевич Рерих, друг с другом они говорили исключительно по-монгольски. История в Тарту началась в 1962 году, когда подружился с Юрием Михайловичем Лотманом.

Три с половиной года назад умер *мой первый учитель*, Юрий Валентинович Кнорозов. Он, как Витгенштейн, коман-

довал артиллерийской батареей и отказывался от офицерства, чтобы скорее демобилизоваться и заняться наукой. Это ему удалось, и мы познакомились после войны, когда я был в десятом классе. Он тогда учился на истфаке и собрал группу, в которую кроме меня входили будущий детский писатель Валентин Берестов и один армянин, и это была, ни много, ни мало, "Группа по изучению происхождения культуры". Юрий Валентинович крепко пил – его дневная норма долгие годы составляла литр водки, и врачи обещали смерть в сорок, но прожил почти восемьдесят. Он попал в окружение в харьковском котле (кстати, он учился в Харьковском университете) и, скрываясь в подвалах, он учил древнеегипетский язык по классическому учебнику Гардинера, приобретенному до войны на базаре. Когда обнаружил шестнадцать ошибок в учебнике, решил, что древнеегипетский — знает. Это был его первый древний язык. После войны из-за того же окружения он не смог стать аспирантом в Москве и устроился экскурсоводом и ассистентом в Музее этнографии народов СССР, где на беду, его начальником был Лев Николаевич Гумилев, вновь арестованный в конце сороковых. Потом в Москве он был помощником у известного археолога, раскопавшего Хорезм, в качестве специалиста по письменности. В Питере он резко пошел в гору, стал доктором, академиком, человеком, расшифровавшим письменность майя. Он хотел даже заговорить на языке майя. При этом еще в 1946 году он учил: "если ты хочешь что-то узнать, то такой проблемы, как язык, быть не должно, словаря и грамматики достаточно".

Я – не лингвист, хотя всю жизнь окружен лингвистами. Однажды мой коллега по Лондонской школе востоковедения и африканистики (SOAS), крупнейший знаток иранского языка, который выучил свои первые языки, работая водителем грузовика в Австралии, спросил меня, знаю ли я осетинский? Я не знал. Он очень удивился и спросил, не *стыдно* ли мне, ведь, бу-

дучи русским, я не могу не знать литовского, а от него недалеко и до осетинского? Я не знал литовского, и стыдно мне не было. Так что я определенно не лингвист. Но три языка я люблю: индийский – тамильский, английский и тибетский, который уже так и не выучу.

Когда я приехал в Оксфорд, с удивлением обнаружил, что предстоящие мне встречи с президентом и вице-президентом Британской академии наук не так страшны, как казалось, потому что и тот, и другой вполне способны войти в мое положение. Первым был сэр Исая Берлин, вторым – сэр Димитрий Оболенский, который позже стал крестным моей дочери.

Знаете, на днях у меня в гостях была беспокойная дама из Москвы. После спектакля в час ночи нанесла визит Людмила Стефановна Петрушевская, очень знающая *дама*, никак иначе не скажешь. Таких можно все реже встретить. И уж точно крупнейший драматург после бурята-монгола Вампилова.

Мой папа, Моисей Гдальевич – был металлург, и поэтому первый раз я решил пойти на работу в тринадцать лет в мартеновский цех. Тогда в нем температура была плюс восемьдесят четыре градуса по Цельсию, а на улице стояла весна – минус двадцать семь. Вторая моя специальность – повар, но не люблю мыть посуду и сервировать стол.

Семиотика меня разочаровала тогда, когда я понял, что все выходы в теорию были тривиальными. Лотман на это отвечал: "Вот Вы, Саша, сядьте и напишите (или выдумайте) теорию". Сам Юрий Михайлович теоретиком не был. Он был историком литературы, но историки не могут быть философами.

Дандарон был первый раз посажен в 1938 году как аристократ и японский шпион, когда его сыну было десять месяцев. За свою жизнь он просидел семнадцать лет и было у него одиннадцать детей.

Впервые услышал о Гурджиеве в послевоенной Москве. Нашел его могилу под Парижем, потому что он просил похоронить его возле Кэтрин Менсфилд. Надгробие – огромный кусок скалы без единой надписи. Гурджиев пил, но не пьянел, и пренебрежительно отзывался о пьянстве Успенского, что привело к обиде Петра Дамиановича. Когда Гурджиев умер, делавший вскрытие врач заявил, что с такими повреждениями не живут. Георгий Иванович очень плохо знал языки. Он одним из первых понял, что история двадцатого века развернется так, что возможен будет только *одинокий* путь спасения, или работа пробуждения-осознания, за пределами всякой социальности.

Современные русские писатели как-будто писать умеют, но ничего не выходит, потому что пишут они о *не-интересном*. Исключение – Петрушевская. Помните, как Ивинская записывает Пастернака: "Нужно писать вещи небывалые, совершать открытия, и чтобы с тобой происходили неслыханности, вот это жизнь, остальное все вздор".

19.11.04 – пятый разговор.

Идя на встречу с АМ мимо знаменитого масонского храма, Covent Garden Temple, построенного в 1927 – 1933 году, я решил зайти в его книжный магазин и нашел полки с подробнейшими годовыми финансовыми отчетами разных лож. Тогда, обнаружив, что окончательно запутался в своих и без того скудных представлениях о масонской секретности и Великой Ложке Англии, я понял, что напрасно не дочитал книгу "Who's Afraid of Freemasons? The Phenomenon of Freemasonry", и по-

просил ее автора, до того, как начнется наша беседа, кратко пояснить, в чем, собственно, заключается условие секретности тайных масонских обществ. Мне было предложено располагаться и обещан ответ ровно через пару минут.

АМ: "Секретность в том, что ни один член ложи не может рассказывать не-члену ни о чем, что происходило или происходит в ложе. Это как тайна исповеди у священства, например. Это – этический принцип. Из ложи могут выгнать, но, конечно, не убить. Последнее – глупейший миф".

АМ попросил первую английскую книжку Алена Бадью, "Infinite Thought", для ознакомления. Через неделю книга покрылась многочисленными восклицательными, вопросительными знаками и подчеркиваниями, нанесенными красной шариковой ручкой.

АМ: "Мне он не понравился своим, *слишком страстным для философа*, франкоцентризмом и антиамериканизмом. И, в конце концов, у Бадью совершенно отсутствует рефлексия, тогда как у Хайдеггера она настолько непрерывна, что от нее устаешь".

Мое знание Хайдеггера – детское. Бибихин потребовал прочесть "Бытие и время", свой перевод и английский, ну я и прочел, будучи в Швейцарии, Фрибурге и Берне, где пришлось преподавать удручающе плохим студентам.

Бидия Дандарович Дандарон умер в лагере в 1974 году. Всю жизнь прожил в Улан-Удэ, где был младшим научным сотрудником Дальневосточного отделения Академии наук. Посадили его в 1973 году. Это была плановая вспышка активности КГБ в борьбе с религией, но с православием бороться уже было неудобно, и принялись за баптистов и буддистов. Я входил в группу Дандарона, к нему приезжали и разбирали буддийские тексты. У меня в те годы тоже начались неприятности, и дру-

зья выхлопотали встречу с генералом КГБ Орловым, которому в 1982 году пришлось застрелиться. Он показал мое дело и выругался: "Не работают, как и везде в системе, отчитываются и врут, а за враньем – воровство. Уезжайте".

Герой романа "Вспомнишь странного человека ...", Михаил Иванович Терещенко был страстный балетоман, финансовый гений, масон, германофоб, предвидевший, как и Соловьев, Холокост. Будучи самым молодым (родился в 1886 году) министром Временного правительства, совершил несколько ошибок, среди которых вранье Англии и Франции по поводу боеспособности русской армии и доверие Александру Федоровичу по-масонски, как брату. Ненавидел Дягилева и Горького, за которыми, по его словам, "всегда ходил черт, и они никогда не были одни". Обожал Нижинского и Стравинского. Жизнь его была полна "трагизма", которого я совершенно лишен, и была чередой разочарований идеалиста. Умер в Ницце в 1956 году.

3.12.04 – шестой разговор.

Воспитывавший меня дед Ефим, или Ефраим Липович Пятигорский, двоюродный дядя моего отца, был купцом первой гильдии и занимался кожгалантереей с компаньоном, старообрядцем Иваном Стоновым. О нем есть мемориальная записка на стене в московской синагоге. У деда была одна маленькая страсть – любовь к цыганам. Он выкупил первую любовь, она умерла в три дня от тифа в 1921 году. После этого дед поседел и позже влюбился в Миланью Дашкову, прожившую до конца в семье. Его приказчик, Аркашка Розенцвейг, был агентом ЧК, и в 1930 году деда арестовали, а следователь по особо важным делам с Лубянки "попросил" все счета перевести на Советское правительство. После избиения все бумаги были подписаны. Его семья – из Полтавской губернии, где стоял Пя-

тигорский полк, воевавший до этого на Северном Кавказе, и все евреи, с ним связанные, получили в нужное время одинаковую фамилию. Оттуда перебрались в Кременчуг, а потом, после знаменитого погрома 1903 или 1904 года, уже – Москва, где появились две фабрики. Дед не умел писать ни на каком языке, но занимался дизайном. Их лучший со Стоновым мастер, Алексей Алексеев пил, но был любим, и, чтобы все не пропало, было решено оплачивать его сыну лучшую гимназию, а позже университет и учебу за границей.

Из школы меня выгоняли дважды. Последний раз я учился в сто десятой школе, расположенной в двух кварталах от Арбатской площади в сторону Никитских ворот. Директора этой лучшей московской школы звали Иван Кузьмич Новиков. Он собрал лучших учителей. Физику и биологию, например, преподавали два доктора наук. Я был изгнан за полную неуспеваемость в декабре из десятого класса. Потом все сдавал экстерном. А папа мне говорил: "Сашенька, если бы те силы, которые ты тратишь на то, чтобы не учить математику, были потрачены на ее изучение, ты смог бы стать прекрасным математиком". В той же школе тогда учился Юрка (Г. П.) Щедровицкий, ни один семинар которого я так и не посетил, но дружили всю жизнь. Двумя годами раньше учился Натан Эйдельман. До этого я был изгнан из вечерней школы, директором которой был *другой* Иван Кузьмич Новиков, но не политик, из старых. Оба изгнания были связаны с тем, что совершенно не учился, предпочитая освоение латыни и ухаживание за девушками.

О "*нулевом интеллектуально – нравственном уровне*". Интеллект и нравственность — из одного начала. Когда нет нравственности, интеллект сохраняется через цинизм, питаемый самым разным, например, страхом или выгодой. Интеллект без нравственности возможен как *искривленный цинизм*. Интеллект

без нравственности вырождается, и *интеллектуал* становится *экспертом*.

В современной России замечательно *новое хамство*, когда все больше начальники хамят подчиненным и не *понимают*, дураки, что им же это вредно. Это нигде нельзя представить. Всякий сенатор понимает, что ты можешь не быть лояльным начальству в той мере, в которой тебя поддерживают подчиненные, и без этой поддержки трудно самому начальствовать.

Борис Абрамович Березовский предложил почитать свою политико-экономическую теорию. И при первой же встрече спрашивает:

- Знаете, с кем я встречался?

- Нет.

- с Ротшильдом!

Удивительно наивное стремление быть *на уровне* во всем.

Поразителен "нравственный инстинкт" таких людей, как Рихтер, Левада или Мамардашвили. Первый конфликт Мераба "со своим народом" произошел в восьмидесятые, когда перед ним открывались все двери. Сын его лучшего друга с товарищами после свадьбы захватили самолет в Тбилиси с требованием лететь в Турцию, а потом убили летчика. Друг попросил Мераба подписать просьбу о помиловании, а тот отказался. Мераб был против отмены смертной казни на кантланском основании: человек должен знать, что его ждет в случае сознательного убийства.

Я против романтизации двадцатых моими друзьями: Вячеслав Иванов и его занятия Эйзенштейном, Г. П. Щедровицкий и культ Льва Семеновича Выготского. Нужно, конечно, вспомнить и физиолога Бернштейна, и Платонова. Я-то счи-

таю, что именно в двадцатых сформировалась интеллигенция с этим нулевым уровнем, которая с огромным энтузиазмом пошла в рабство, именно тогда был выкован интеллигентский цинизм, которым Сталин воспользовался как системным принципом в тридцатых.

В литературе, если по большому счету, без ссылок на *новизну*, оказался действительно велик только Платонов, умерший в сорок пятом, а после него уже в шестидесятых начала Петрушевская, да еще бурят Вампилов, выучивший русский в пятнадцать лет и шесть лет писавший невиданную драматургию.

17.12.04 – седьмой разговор.

Поминали Владимира Вениаминовича Бибихина, умершего 12.12.04. Впервые встретились с ним на симпозиуме в Риге, после циклов лекций, составивших книгу "Философия на троих". Вначале не понравились друг другу, а потом сошлись. Близость вопреки тому, что ни в чем не сходились друг с другом. Совсем не могу примириться со смертями Аверинцева и Бибихина. Вот у них как раз совершенно неразделимы были интеллект и нравственность.

С Игорем Павловичем Смирновым познакомились в Венеции в 1986 году. Обаятельнейший, образованнейший человек, но последние пять-шесть лет – историсофский кошмар: российская империя, "без нас Украина не проживет" и тому подобное.

Рассказ Николая Михайловича Зернова о митрополите Антонии Сурожском. Однажды в Оксфорде он проходил мимо развалившихся хиппи, которые грубо его позвали: "Bishop, come here", и он напрямик к ним отправился. Русская дама возмути-

лась, а он ей ответил: "Я ничем не лучше их". Николай Михайлович говорил, что именно за это и любит владыку Антония.

Замечательна русская апология *искренности*, которая есть оправдание всему, вплоть до цинизма. Аргумент один: "Зато я искренен". Одна русская дама критиковала *любезность*:

- но любезность — это неискренность.

Пришлось возразить:

- любезность это любезность, а к искренности или неискренности она отношения не имеет.

О *Деррида*. Ужасно скучно, хотя пишется ВЕ – ЛИ – КО – ЛЕП – НО ! Все дело в том, что хотя философ и может думать о чем хочет, но выбор *объекта думанья* важен для *воспитания* философа. Думать о неинтересном непедагогично. Выбор же Деррида странен. То проблема самоидентичности как алжирского или французского еврея, то постоянное обозначение *своих*. Как сказали бы ребята из послевоенных московских дворов: "Кого это волнует?".

2.06.05 – ужин у Мити Боского.

Поминали С. С. Аверинцева, М. К. Мамадашвили, Ю. М. Лотмана, вспоминали о М. А. Гаспарове, В.В.Иванове, и поминовение закончилось тем, что АМ предложил тост: "В 1939 году в Москве случайно убит британский резидент в СССР. Дело срочное, и в Москву отправлена английская шпионка, девушка из Оксфорда 22 лет. О том, что она из разведки, московские специалисты вдруг догадываются по перехваченному письму ее возлюбленного из Эдинбурга, в котором тот просит ее отправиться летом на Кавказ и записать 400 – 500 слов лезгинского языка, совершенно необходимых ему для завершения диссертации по лингвистике. Консультанты в ГРУ подтверждают, что, несмотря на кажущуюся нелепость просьбы, в послании есть научный

смысл и поэтому письмо – не шифровка. Позже девушка гибнет в блокадном Ленинграде, куда поехала по шпионским делам и застряла. А ведь могла никуда не ехать и продолжать прогуливаться по Оксфорду на своем велосипеде.

Следующая история – о профессоре Фасмере и вывезенных в Москву в 1945 году его чемоданах со словарем. Интересно, что не только сам Фасмер в 1944 году продолжал заниматься в Берлине своим делом – этимологическим словарем русского языка, но и нашу разведку интересовало, как у него идут дела.

Давайте выпьем за то, чтобы всегда находились *нормальные люди*, которые продолжают заниматься *своим делом* вместо того, чтобы убивать кого-то".

Говорили о моих нынешних занятиях теологическим поворотом во французской феноменологии, и АМ заявил, что Ж.-Л. Марионом стоит позаниматься в связи со слепым пятном *интересного*. Действительно, феноменология дара и данности дополнительна к философии сознания АМ, у которого все движется от интересного, но само интересное – вводится слишком апофатически.

После моего возвращения с семинара, на котором встретились интереснейшие богословы, АМ:

- Говорил ли кто-то там интересное?
- А что такое "интересное"?
- Ну, например, разговор о конце света.
- А это интересно?
- Конечно. Ведь всякий рассказ может иметь смысл только в том случае, если о нем можно спросить: "Чем же все это кончилось?".

9.06.05 – прощались, выпивали и вспоминали. АМ рассказывал о своей поездке двухлетней давности в Индию, с

Уддисом Тиронсом и рижскими друзьями. И из рассказов об индийском поезде, опоздавшем на пять часов в пятидесятиградусную жару, о пассажирах на крыше, о жажде и привокзальной воде он несколько раз возвращался в Бенарес, священный город, в который индусы добираются умирать.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беньямин В. Рассказчик / В. Беньямин // В. Беньямин. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. – СПб.: "Симпозиум", 2004. – с 383 – 418.
2. Пятигорский А. М. Заметки о метафизической ситуации / А. М. Пятигорский // Континент, 1974. – №1. – с. 211 – 224.
3. Пятигорский А. М. Чуть-чуть о философии Владимира Набокова / А. М. Пятигорский // Континент, 1978. – №15. – с. 313 – 322.
4. Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа / А. М. Пятигорский. – М.: "Языки русской культуры", 1996. – 280 с.
5. Пятигорский А. М. Вспомнишь странного человека ... / А. М. Пятигорский. – М.: Новое литературное обозрение, 1999. – 399 с.
6. Пятигорский А. М. Рассказы и сны / А. М. Пятигорский. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. – 128 с.
7. Пятигорский А. М. Мышление и наблюдение. Четыре лекции по обсервационной философии / А. М. Пятигорский. – Rīga: Liepnieks & Ritups, 2002. – 172 с.
8. Пятигорский А. М. Конец века – конец финализма / А. М. Пятигорский // А. Пятигорский. Непрерываемый разговор. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – с 413 – 417.
9. Пятигорский А. М. Непрерываемый разговор / А. М. Пятигорский // А. Пятигорский. Непрерываемый разговор. – СПб.: Азбука – классика, 2004. – с 7 – 37.
10. Пятигорский А. М. Что такое политическая философия: размышления и соображения. Цикл лекций / А. М. Пятигорский. – М.: Издательство "Европа", 2007. – 152 с.
11. Пятигорский А. М. Введение в изучение буддийской философии (девятнадцать семинаров) / А. М. Пятигорский. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 288 с.

12. Piatigorsky A. Who's Afraid of Freemasons? The Phenomenon of Freemasonry / A. Piatigorsky A. – London: The Harvill Press, 1997. – 398 p. (русский перевод: Пятигорский А. М. Кто боится вольных каменщиков? Феномен масонства / А. М. Пятигорский. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 448 с.